

*Десять
жизней
любви*

Лариса Лазарова

Лариса Лазарова

Девять жизней любви

<https://litres.ru/74688988>

SelfPub; 2026

Аннотация

В 1983 году в Тюмени жила девушка с сороковым размером ноги, которая рисовала на стенах. Чтобы становилось красивее. У нее было три подработки, больная бабушка и младший брат в новом микрорайоне. Отец считал ее бездарностью. Школьный друг Сорока молча. Она вышла замуж. За человека, который в нее поверил.

Японцы говорят, что человек по-настоящему любит девять раз. Оказалось, что она уже любила. Дважды. А вы?

Не ностальгия по СССР. «Девять жизней любви» — иронично, тепло и без чернухи. Когда не было интернета, но были очереди, «Бурда» и надежда. Времени уже нет. А люди еще остались.

Содержание

ПРОЛОГ	4
ГЛАВА 1. НОЧНАЯ СМЕНА	9
ГЛАВА 2. РЕПРОДУКЦИИ ВАСИЛЬЕВА	18
Глава 3. УНИВЕРСИТЕТ. ПЫЛЬНЫЙ ШКАФ	27
Глава 4. КАТОК	38
Конец ознакомительного фрагмента.	46

Лариса Лазарова

Девять жизней любви

ПРОЛОГ

Тюмень. Лето 1989 года.

Тюмень пахла совсем иначе, чем Болгария. Не розами на рассвете и жареным кофе из маленькой кофейни на углу, куда она привыкла забегать по утрам. Здесь пахло нагретым асфальтом, тополиным пухом, который летел с деревьев и забивался в волосы. Бензином от старых автобусов и почему-то свежим хлебом. Хотя до гастронома было еще метров двести, хлеб привозили по утрам, а сейчас был уже почти вечер. И еще — далеко-далеко, почти на самой границе слуха, бряцкали Вторые пути. Этот звук невозможно было спутать ни с чем. Она с ним выросла.

Натали остановилась. Закрывает глаза. И сразу — будто открылась дверь в ту самую комнату, где пахло бабушкиными пирожками и старой фланелевой юбкой. Шесть лет назад она уехала отсюда девятнадцатилетней девчонкой с одной дорожной сумкой и надеждами.

Вернулась хорошо одетой женщиной. С загаром, который выдавал южного человека. С сыном. Без мужа. Она оставила

Ники у матери. Брат уже вырос, стал похож на отца. И ей вдруг стало больно от этой похожести. Жаль, что Альберт Адамович не увидел внука. Умер через год после её отъезда. Говорили, сердце. Она не простилась, не вышло.

Странно устроена память. Из всей своей прошлой жизни она сейчас отчётливо помнила только одно. Как зимой Вторые пути будили весь двор своим железнодорожным грохотом. Лязг, свист, протяжный гул, от которого вздрагивали стёкла в окнах, а голуби на голубятне взлетали. Вряд ли понимая, зачем. Звуки въелись в стены хрущёвок, бетон, асфальт под ногами. Будто не было никаких шести лет. Она медленно пошла по знакомой улице. Машин стало заметно больше. Остановка сменилась новым павильоном с прозрачными стёклами, а на месте деревянного киоска вырос кирпичный с металлической дверью. Люди одевались иначе — джинсы, яркие куртки, кое-где даже кроссовки. Двор словно решил никого не ждать. Та же голубятня. Правда, дядя Витя умер два года назад, и теперь голубьями занимался его внук. Молодой парень с серьёзным лицом. Те же старые липы, под которыми она когда-то пряталась от дождя. Тот же доминошный стол, только без мужиков — видимо, ещё не время. И гастроном. С вывеской, которая уже облупилась, но всё ещё держалась на честном слове.

— Стой!.. Татоха!.. Стой, говорю!

Она не сразу поняла, что кричат именно ей. В ушах ещё гудел поезд, который она слышала в своей голове. Она огля-

нулась, растерянно моргая. Кто-то схватил за локоть и решительно утянул за угол киоска. Туда, где пахло пивом и сырой землёй.

— Вот ведь слепая! Совсем своих не узнаешь!

Лидка. Та самая Лидка. Только волосы короче, подстрижена под каре, лицо чуть полнее, а вокруг глаз разбежались смешливые морщинки. Но глаза такие же. Хитрые, наглые.

— Лидка! — выдохнула Натали и почувствовала, как внутри разливается тепло. — Ты как тут?

— Как, как. Работаю, — усмехнулась та, но уже тянула её в подсобку. — Иди сюда, а то увидят — набегут. Не хватало ещё, чтобы весь двор облепили.

Подсобка оказалась тесной, захламлённой, с запахом табака и старого дерева. На столе стояла щербатая кружка. И Лидка уже наливала в неё что-то из бутылки без этикетки. Карамельный ликер — дешёвый, приторный, но с характерным спиртовым запахом. Натали невольно засмеялась. Ничего во дворе не менялось. Даже выпивка была та же.

— Смотри на нее, вернулась! Худющая какая, — восхищалась Лидка, рассматривая её с головы до ног. — Загорелая. Красавица прямо. Иностранка! Ну, рассказывай!

— Да что рассказывать... — Натали пожала плечами, но Лидка перебила:

— Нет уж. Расскажешь. Только сначала ответь, где работать думаешь?

— Попробую оформителем устроиться. Я закончила там

специальные курсы. Работала на заводе керамики. Может, и здесь получится.

— На заводе? — удивилась Лидка, и в голосе её послышалось недоверие. — Нифига ты, мать, Золушка! А мы думали, ты там в золоте катаешься. М-да. Везде хорошо, где нас нет. Ну да и хрен с ними.

Она помолчала, глотнула из кружки и серьезно посмотрела на Натали. Вот уж редкое явление.

— Ты Майку помнишь? — требовательно спросила она. — Сеструху? Она тут устроилась в гостиницу, «Юпитер». Новая такая, в центре. Кадровичкой. И тут плакалась, что её директор жмёт. Им какой-то специалист по украшению помещений нужен. Там всё теперь по-современному. Если хочешь, я ей звякну. Сходишь, поболтаете.

— Лид, ты серьёзно? — Натали почувствовала, как внутри поднимается надежда. Хрупкая, почти детская.

— Серьёзнее не бывает, — ответила та и вздохнула. — Мы теперь с тобой, Татоха, женщины детные, одинокие. Должны помогать друг другу. А то! Может, и на нашей улице праздник будет.

Они ещё немного посидели, пили этот приторный ликёр и говорили о пустяках. О том, что гастроном теперь работает до десяти, а раньше закрывался в восемь. В городе появился кооперативный магазин. Там продают хорошую колбасу, но очереди такие, что проще съездить в ЕКБ. Натали чувствовала, как привычная жизнь возвращается к ней. Шумная, су-

етливая, но тёплая. Своя.

Когда она уже поднялась уходить, Лидка вдруг замолчала. Совсем ненадолго. Потом спросила — другим голосом, боялась спугнуть:

— Ты... про Сороку-то знаешь?

Натали медленно обернулась. Имя прозвучало так неожиданно, словно кто-то открыл давно запертую дверь. Сразу запахло школьным мелом, хлоркой из подъезда, голубиным помётом и ещё чем-то горьковатым.

Сорока.

Сергей Белобоков.

Она не вспоминала о нем много лет. Запрещала себе вспоминать.

Покачала головой.

— Вот, возьми телефон Майкин, — предложила Лидка.
— Позвони, вдруг да выгорит.

Натали вышла из киоска в вечерний двор, где зажигались жёлтые фонари.

Голуби кружили над голубятней. Она стояла, сжимая в кармане клочок бумаги с Лидкиным номером. Странное чувство. Точно она оставила здесь что-то, когда уезжала.

И теперь оно возвращалось.

ГЛАВА 1. НОЧНАЯ СМЕНА

1983 г.

Ведро с хлоркой тянуло назад. Оцинкованное, с дырой в боку, которую бабушка заклеивала изолентой. Из неё всё равно сочилось, оставляя на бетонных ступенях мокрый след, похожий на змеиный хвост. Татоха перехватила швабру поудобнее. Самодельную, буквой «Т» палку от старой лопаты с намотанной на конец тряпкой, которая вечно размазывалась ровно посередине лестничного пролета. И выдохнула в платок. Бабушкин, ситцевый, в розовых цветочках, и пах нафталином. Она замотала лицо так, что снаружи виднелись только глаза, чтобы никто не узнал. Стыдно было мыть подъезды. Девушке, студентке заочного отделения, лаборанту кафедры языкознания, — стоять на коленях с тряпкой в два часа ночи. Но сапоги, мать их, сами себя не купят.

Она двинулась вверх, волоча за собой ведро. Ведро гремело, стучало о ступеньки. Звук, от которого в сонном подъезде просыпались все тараканы. Наверное, даже мыши в подвале. Лампочка на лестничной площадке моргала с коротким электрическим надрывом. Тусклый оранжевый свет падал на стены, крашенные голубой масляной краской. Такой были покрыты все подъезды в их доме. Краска уже облупилась местами, шла пузырями. В этих вздутиях Татоха, ес-

ли приглядеться, видела очертания. Иногда ей казалось, что стены сами просят, чтобы их расписали. Но сейчас было не до этого.

На втором этаже кто-то выставил мусорное ведро прямо на площадку. Воняло картофельными очистками и кислой капустой. Татоха чертыхнулась сквозь зубы, но мыть не стала — не за это платят. Она просто обошла ведро, мысленно послав его хозяевам чуму на оба дома. На третьем этаже она заметила грязный след от подошвы — кто-то прошел по мокрому полу и теперь придется перемывать. Она ненавидела таких. Нет, не ненавидела, конечно, но злилась. И это помогало тащить тяжелое ведро дальше.

— Три рубля, — прошептала она в платок. — Сегодня три рубля.

Три рубля — это две пачки лекарств для бабки, и еще рубль в копилку на сапоги. Сапоги стоили сто двадцать. Если верить слухам, что в Военторг завезут партию женских, с утеплителем. Но это «если», а пока в Военторге продавали только мужские. И они выглядели так, будто их кроили из кирзовых заготовок. Татоха уже с ужасом представляла, как натягивает это страшилище на ногу сорокового размера. От этой мысли хотелось плакать. Она хотела красивые, как в «Бурде». С каблуком, на шнуровке, чтобы идти по улице и слышать, как стучат каблучки. Но в Тюмени, в октябре, с грязью и снегом по колено, — о чем тут думать!

— Эх, — выдохнула она и занесла швабру над лужицей,

оставленной неизвестным негодяем.

Хлорка ударила в нос даже сквозь платок. Вкус железа и дезинфекции. Она разводила ее в трехлитровой банке. Еще и подписывала. Все строго по инструкции, потому что бабушка рассказывала, как одна соседка спалила себе легкие. Порошок хлорки стоил сорок копеек и хранился в банке с плотно закрытой крышкой, иначе выветривался и становился бесполезным. Татоха меняла раствор раз в три дня, как учила баба Клава. Сегодня как раз свежий, от него першило в горле и слезились глаза. Но полы были что надо. Идеально. Не придерешься.

На четвертом этаже дверь квартиры Сороки была приоткрыта. Татоха услышала шарканье тапок — и замерла. Из щели выполз сигаретный дым, дешевый, с кисловатой горчинкой. Это тетя Ася, мать Сороки. Она вышла на площадку покурить, как всегда в это время, — после ночной смены. В телогрейке поверх ночной рубашки, с растрепанными седыми волосами. Она никогда не красилась, ей было не надо. Лицо у тети Аси злое, как у дворовой кошки, которую пнули.

— Смотрю, Малинникова, — прохрипела тетя Ася, затягиваясь. — Опять подъезды моешь. Ты, гляди, хорошо мой, поняла? Я завтра вечером с работы приду, проверю. Чтоб ни пылинки.

Татоха подняла на нее глаза. Серо-зеленые, с едва заметной искоркой.

— Хорошо, Ася Иванна, — ответила она, стараясь, чтобы

голос звучал равнодушно.

— А то знаю я вас, студентов. Лень одна. Денег нет, а работать не хотите. У меня вон Сережка каждый день на заводе, и ничего, не жалуется. А ты с тряпкой, как нищенка. Стыдно, Малинникова.

Татоха сжала швабру. Стыдно, да. Очень стыдно. Но когда это было подходящей причиной не мыть полы и не приносить домой три рубля, она не знала. С Асей лучше не начинать, поэтому промолчала. Мать Сороки еще раз пыхнула сигаретой, плюнула через перила вниз (не попала, к счастью, в ведро) и захлопнула дверь.

— Ах ты, — выдохнула Татоха уже в пустоту. — Сама бы попробовала в двенадцать ночи таскать ведро, ведьма старая.

Но она не злилась по-настоящему. Тетя Ася была такой всегда, сколько Татоха помнила. Еще со школы, та работала уборщицей. Ее все боялись, как огня. И Сорока таким же будет, наверное, когда состарится. Колючим и недоверчивым. Сорока сейчас спал, Татоха знала. Он вернулся поздно, слышала, как хлопнула дверь. Она не видела его уже несколько дней. Он то ли на смене, то ли опять в какие-то темные дела ввязался. Дмитрич на днях говорил, что надо бы его приструнить, пока совсем не скурвился. Татоха притворилась, что не слышит. За Сороку она всегда была готова вступить, хотя сама себе в этом не признавалась. А Дмитрич, даром что участковый, сам не промах. Разберется. Суров, но

справедлив.

Она перемыла четвертый этаж, потом выше. На пятом ей стало легче — там жил дядя Витя, голубятник. Никогда не мусорил. У него всегда было чисто на площадке. Татоха любила заходить сюда. Здесь пахло не мокрым бетоном и табаком, а сухим зерном и птичьим пером. Даже ночью из-под двери доносился тихий воркотун. Иногда он брал пару домой, подлечить. Дядя Витя был единственным, кто во дворе не осуждал ее за халтуру. Он только смотрел своими светлыми глазами и качал головой: «Ты, Наташка, не убивайся. Всё будет». Она ему верила, сама не знала почему. Может, потому что голуби его были единственной красотой, которую видели все. Гордость двора.

Закончив последний марш, Татоха сполоснула тряпку в ведре, вылила мутную воду в канализационный люк во дворе и поставила ведро и швабру в угол, где их никто не видел. Часы на столбе показывали половину второго. Она сняла платок, стянула мокрый халат, который мать отдала еще в прошлом году, и остановилась. На мгновение. Двор спал. Фонарь над голубятней горел тускло-желтым, пробивался сквозь первые октябрьские заморозки. Где-то на Вторых путях лязгнул состав, и этот звук привычно прокатился по стенам домов. Гроном с небес.

Татоха подняла глаза на окно своей квартиры — третий этаж, левое крыло. В окне горел свет. Бабушка не спала. Она всегда ждала, даже если внучка говорила: «Не жди меня, ба,

ложись». Татоха вздохнула и пошла к подъезду.

Дверь в квартиру была не заперта. Бабка оставляла ключ под половиком, «чтобы не греметь». Татоха вошла тихо, как мышка. Закрыла дверь. Сразу услышала кашель из комнаты. Бабушка сидела в старом, скрипучем кресле-качалке, укрытая шалью. С очками на носу и газетой в руках. Газета была свежая, «Тюменская правда», которую ей принесла тетя Сима, медсестра. Но читала она медленно. Больше смотрела в одну точку, ждала.

— Вернулась, — проскрипела она голосом сухим, как осенний лист. — А я уж думала, ты там утонула, в ведре.

— Не утонула, бабуль, — Татоха повесила халат на вешалку в прихожей. — Подзаработала.

Она вытащила из кармана застиранных треников монеты и бумажки. Положила на обеденный стол, покрытый клеенкой с цветочками. Бабушка посмотрела на деньги, потом на внучку.

— Два — тебе на таблетки, — распорядилась Татоха, отделив бумажку и монетки. — Один — мне, в копилку.

Зашла на кухню, где на полке стояли две коробки из-под заварки. В одной — бабушкиной, с надписью «Для Клавы», лежали рубли и мелочь. Татоха положила два рубля туда. В другую упал третий. С надписью «Сапоги», которую она вывела шариковой ручкой, аккуратно, почти каллиграфически. В коробке было уже около двадцати рублей. Еще сто, и она сможет пойти в Военторг и купить сапоги, если объявят за-

воз женской обуви. Но верить в это было глупо.

Бабушка доковыляла до кухни — с табуреточкой, переставляя ее через каждые три шага. Татоха видела, как трясутся ее руки. В груди что-то сжалось. Клавдия Ивановна села на табуретку, вздохнула.

— Наталья, — выдохнула она, — не ходила бы ты туда. Не дело это.

— А кто нам сапоги купит, бабуль? — устало усмехнулась Татоха. — Ты? У тебя пенсия шестьдесят пять рублей. Продукты на талоны, а сапоги... сама знаешь.

— Прожила бы и без таких сапог, — бабушка покачала головой. — Молодая. Стыдно должно быть.

— Стыдно не стыдно, а ноги мерзнут, — ответила Татоха и полезла в холодильник за кефиром.

Кефир был в стеклянной бутылке, с крышечкой из фольги. Она отпила прямо из горлышка, не стала пачкать стакан. Холод разлился по горлу. Усталость наваливалась на плечи.

— Ты бы спать пошла, — поторопила бабушка. — Завтра же в универ.

— Завтра? — переспросила Татоха. — А, да. Сегодня уже. Я на кафедре с утра. Лекции у заочников. Пламен приезжает, сказал, пакет привезет. Пойду, посмотрю, что там.

— Опять с этим Пламеном? — бабушка нахмурилась. — На черта он тебе? Иностранец. Спекулянт. Не дай бог, в милицию попадешь.

— Не попаду, — отрезала Татоха. — Я аккуратно.

Она ушла в свой угол. Комнату делила с бабушкой. Та спала на своей узкой кровати, а Татоха на диване-книжке, который не раскладывала. Потому что лень. Села, обхватив колени, смотрела в окно. Двор был темным, только фонарь и голубятня. Голуби спали. Где-то вдалеке снова лязгнул состав.

Подумала о том, что скоро зима. Сапоги. Сто двадцать рублей. Хлорка. Ведро. Швабра. Сорока, спящий за стенкой. Пламен, с его пакетами. И она — высокая, неуклюжая, с сороковым размером ноги. Которая моет подъезды по ночам, а днем притворяется, что она лаборант. Студентка, почти филолог.

«Я что, всегда буду так жить?» — спросила она у своего отражения в темном стекле.

Отражение не ответило. Только голуби заворочались в голубятне. Из них кто-то тихо гукнул утешая.

Татоха отвернулась от окна, потеряла переносицу. Дурная привычка, когда злится. Полезла под подушку за журналом. Там лежал последний номер «Бурды», который прятала от бабушки. Она открыла его на странице с сапогами. И стала смотреть. Пока глаза не слиплись.

Ей снилось, что идет по Тюмени в этих сапогах. Высоких, с тонкой подошвой, на шнуровке. И все оборачиваются. А она не прячет лицо. Улыбается. Свободно.

Она лежала на своем диване в хрущевке, укрывшись тонким одеялом.

За окном моргал желтый фонарь.

Одинокий свидетель ее жизни.

ГЛАВА 2. РЕПРОДУКЦИИ ВАСИЛЬЕВА

В субботу утром они пили чай на кухне. Индийский, со слоном на коробке. Бабушка хранила его для особых дней. Суббота, когда Татоха не мыла подъезды и не бежала в университет, считалась именно таким днем. Заварка была темная, крепкая, почти черная, и бабушка заливала ее крутым кипятком из закопченного чайника, который стоял на плите.

На столе, покрытом клеенкой с бледными розочками, стояла тарелка с хлебом. Ржаной, по двенадцать копеек буханка, нарезанный неровными ломтями. Рядом — блюдце с маслом. Сливочное, намазывали тонко, потому что сэкономили. Но сегодня Татоха достала еще и сыр. Колбасный, в красной обертке. Купили на прошлой неделе в гастрономе, повезло. Запах у сыра был резкий, копченый. Он таял во рту, оставляя странное послевкусие. Татоха любила его именно за это, он напоминал о празднике. Иногда, когда настроение было хорошим, они делали «пирожное»: намазывали масло на белый хлеб и посыпали сахаром. Сахар-песок, крупный, слегка влажный, желтоватый. Его выдавали по талонам, но бабушка умудрялась растянуть. Хватало.

Татоха сидела, обхватив горячую кружку ладонями. Кружка была фаянсовая, с отбитым краем, — на ней красо-

вался портрет Гагарина. Уже почти стертый от времени и частого мытья. Бабушка пила из своей, поменьше, с незабудками. Отпила глоток, поставила кружку и потянулась к коробке, которая стояла на подоконнике. Среди герани и фиалок. Коробка старая, из-под конфет «Белочка», — Татоха помнила их шоколадный вкус, с крошкой орехов внутри. Коробку хранили для открыток.

— Давай, Наталья, — предлагала бабушка, — переберем. А то я смотрю, края загибаться стали.

Она открыла коробку. Оттуда пахнуло старым картоном, типографской краской и еще чем-то неуловимым. Внутри лежали открытки. С десяток репродукций, аккуратно завернутых в кальку, чтобы не помялись. Татоха достала их, разложила на столе между тарелкой и блюдцем с маслом.

«Оттепель». Серое небо, мокрый снег, грязная дорога, уходящая вдаль. И в центре — фигура человека. Он шел сквозь стужу, сгорбившийся, но не сломленный. Ветки голых деревьев тянулись к нему, как руки. Татоха задержалась на этой открытке дольше всего. Она любила «Оттепель» почти болезненно — в ней было что-то до боли знакомое. Что она чувствовала каждую ночь, когда тащила ведро по лестнице.

— Вот, ба, смотри, — показывала она открытку бабушке. — Как я. Вечно куда-то иду, а тепла нет.

Бабушка взяла открытку, поднесла к близоруким глазам. Прищурилась. Она хорошо не видела уже несколько лет, но никогда не жаловалась. Новые очки стоили семь рублей, а в

очереди к окулисту в поликлинике надо было стоять с самого утра.

— Ты еще молодая, — возвращая открытку говорила бабушка, — Найдешь свое тепло. Не торопись. Васильев тоже не сразу нашел. — она махнула рукой. — Ты иди, Наташа. Рисуй. Тебе это дадено.

Татоха перебрала остальные открытки. «Несущий радость» — фигура с факелом, освещающая тьму. «У окна» — женщина, рассматривающая заснеженный сад. «Плач Ярославны» — трагедия, которую она не до конца понимала, но чувствовала кожей. Она остановилась на «Оттепели» и положила ее отдельно. Ей хотелось рисовать сегодня. Прямо сейчас. Бабушка взяла другую открытку — «Северный орел», с суровым, почти языческим лицом, — и вздохнула.

— Хороший художник. Жаль, рано ушел.

— Тридцать четыре года, — проговорила Татоха торопливо. — Он вообще хотел писать картину про Владимира Красное Солнышко. Но не успел.

— Не успел, — повторила бабушка. — Многие не успевают. Ты успеешь.

Татоха открыла было рот, чтобы сказать что-то колкое. Про отца, запреты, что ей никогда не дадут быть художницей, — но в дверь позвонили. Звонок был старый, дребезжащий. Татоха вздрогнула и пошла открывать.

За дверью стояла тетя Катя из третьего подъезда. Женщина лет сорока пяти, в кокетливом цветастом платке и акку-

ратном пальто, не по погоде теплом. Вечно мерзла. В руках у нее была авоська с картошкой — видно, только что из овощного.

— Наташ, привет, — поздоровалась тетя Катя, чуть запыхавшись. — Можно к вам?

— Ага, здравствуйте, — ответила Татоха, уже догадываясь, зачем та пришла. — Проходите, тетя Кать.

Женщина остановилась в прихожей, вытирая ноги о половичок у двери. Она переминалась, явно стесняясь.

— Ты это, Наташ, — начала она. — Мне соседка сказала, из твоего подъезда, Зойка из пятой квартиры... Она говорила, ты ей туалет разрисовала. Красиво так, с цветами, как на картине. Вот я и подумала...

Татоха улыбнулась, хотя внутри у нее все сжалось от страха и радости одновременно. Страх — что узнают на кафедре. Поймут, что она не только подъезды моет, но еще и стены расписывает. Черте что подумают. Радость от того, что к ней пришли, просят. Чтобы она рисовала! Еще и денег дадут.

— Вы проходите на кухню, — пригласила она. — Я покажу вам открытки. Выберите, что нравится.

Тетя Катя сбросила обувь, босиком прошла на кухню, поздоровалась с бабушкой, села на табуретку. Бабушка собрала со стола чашки, чтобы освободить место. Татоха разложила открытки снова, скрывая свое волнение.

— Вот, — говорила она, водя пальцем над карточками. — Мой любимый художник. Его картины хорошо смотрятся,

я много делала. Можете выбрать что-то на стенку в ванной. Прямо освежает!

Тетя Катя смотрела на открытки, сдвинув брови. Она была простой женщиной, работавшей на мясокомбинате, и в искусстве разбиралась плохо. Но она знала, что ей нравится.

— Вот это, — выбрала она, ткнув пальцем в «Оттепель». — Прямо я иду по улице. Только у нас снег, а не этот... как его... мокрый. И эта фигура. Там человек, да?

— Человек, — подтвердила Татоха. — Он идет сквозь непогоду.

— Ну вот, — тетя Катя кивнула. — Я хочу, чтобы в моей ванной было что-то такое. Человек идет. И никуда не сворачивает. Как кино! Девки умрут! Ты сможешь?

Татоха посмотрела на открытку, потом на тетю Катю. Она знала, что сможет. Чувствовала это кончиками пальцев, которым уже чесалось схватить кисть.

— Смогу, — кивнула она. — Только аккуратно. Там надо грунтовку, чтобы краска легла. На голой масляной краске плохо держится. Я сначала подготовлю стену.

— А долго? — спросила тетя Катя, уже прикидывая, когда можно будет устроить «праздник» в «Эрмитаже ванной».

— За два вечера управлюсь, — успокоила Татоха. — Краска схватится быстро. Надо будет растворитель, чтобы разбавить. Он есть у меня.

— А сколько? — тетя Катя деловито полезла в карман пальто. — Я слышала, ты за рубль берешь, и быстро. Мне

так не надо, быстро. Мне надо, чтобы все упали. Я могу три. Если красиво будет.

Татоха сглотнула. Три рубля. Это почти как ночная смена, только не надо таскать ведро. И прятать лицо не надо.

— Два, — выдала она, неожиданно для себя. — Два рубля, тетя Катя. И я сделаю красиво.

— Ну, давай два, — согласилась тетя Катя. — Когда приходить-то?

— Завтра вечером, — сказала Татоха. — Я после универа зайду. Возьму все, краски, кисти.

Тетя Катя ушла, оставив на столе пачку печенья «Юбилейное». Гостинец, который она прихватила с собой, чтобы не казаться нахалкой. Татоха закрыла за ней дверь, прислонилась спиной к косяку и выдохнула. Бабушка смотрела на нее из кухни.

— Ну что, — грустно спросила бабушка, — опять будешь стены красить?

— Буду, — ответила Татоха. — Лучше, чем шваброй махать.

Она прошла в комнату, встала перед шифоньером и открыла дверцу. На нижней полке, завернутые в старые газеты, лежали банки с масляной краской. Отец не знал. Она припрятала их, когда он приезжал в старую квартиру готовить плакаты к Седьмому ноября. Он оставил здесь ведро с белилами, банку охры, синюю, красную, и растворитель. Кисти — старые, с вылезавшей щетиной, но она их берегла. Пере-

бирала пальцами, проверяя, не засох ли ворс.

— Ты что, — спросила бабушка с порога, — прямо сейчас?

— Хочу сделать набросок, — ответила Татоха. — Чтобы не забыть.

Она взяла альбом. Бумага в нем была сероватая, для малышей. Такие продавали в канцелярском за восемь копеек. Но Татоха любила эту бумагу. Она была шершавой и принимала карандаш как губка. Открыла «Оттепель» и начала делать набросок. Сначала — линии. Серые, ломаные, как ветки. Потом — фигура. Человек, который шел. Он был маленьким на листе, но она чувствовала движение. Она одна знала, куда он идет.

— Ладно, — ворчала бабушка. — Буду чай греть. Ты как закончишь — позови.

Татоха уже не слышала ее. Пальцы двигались сами, карандаш царапал бумагу. Мир вокруг исчез. Не было больше хрущевки, ведра с хлоркой, ворчливой тети Аси. Только человек. Который шел сквозь выюгу. И она шла рядом с ним. Вместе.

Она вспомнила, как в художественной школе преподавательница хвалила ее работы. Говорила, что у нее глаз острый, рука твердая. И она сможет поступить в училище, если захочет. Она хотела. Но отец сказал — нет. Он пришел в художку, поговорил. И все закончилось. «Художника из тебя не выйдет, — сказал он тогда. — Глупости это. Бабам там

делать нечего. Что ты будешь там делать? Как я, по стенам на козлах лазить? Классиков марксизма-ленинизма писать? Не дури!»

Она бормотала бессвязно: «Я буду рисовать открытки. Красивые. Чтобы всем нравились». Отец только рассмеялся. Горько, со свистом. «Кому это надо! — сказал он. — Лучше пол учись чище мыть. Больше пригодится».

С тех пор она опасалась говорить о своих художественных планах. Только карандаш и альбом. Брала масляные краски у отца, когда не видел. Хранила их как воровка. Смотрела на набросок, чувствовала, как внутри поднимается волна. Теплая, почти горячая.

Работала долго. Когда подняла голову, бабушка уже спала в кресле, укрывшись шалью. Часы на стене показывали половину пятого. За окном темнело, во дворе зажегся желтый фонарь. Голуби собрались на крыше голубятни, в последний раз перед сном.

Татоха посмотрела на эскиз. Он казался живым. Несовершенным, но подвижным. Она знала, что завтра перенесет его на стену. Чувствовала себя счастливой.

— Смотри, ба, — прошептала она, но бабушка не слышала. — Получается.

Она закрыла альбом и пошла на кухню. На столе лежала нетронутая пачка «Юбилейного». Татоха взяла одну печенку, откусила. Вкус был сладкий, чуть ванильный. Как в детстве.

Она подошла к окну, посмотрела вниз. Дядя Витя запи-
рал голубятню. Сорока стоял у подъезда, курил и смотрел
куда-то в темноту. Он не видел ее, но она-то видела. Жили-
стый, невысокий, с вечно сутулой спиной. Она чуть не пома-
хала ему, но удержалась.

— Завтра, — сказала она сама себе. — Завтра буду рисо-
вать.

Она закрыла форточку, задернула тюль и пошла в комна-
ту. На кровати уже лежала раскрытая «Бурда». Сапоги, вы-
сокие, красивые, ждали ее. Но сегодня она не думала о сапо-
гах. Только о человеке, который идет сквозь выюгу.

И о том, что у нее есть еще время, чтобы найти свое тепло.

Глава 3. УНИВЕРСИТЕТ. ПЫЛЬНЫЙ ШКАФ

Понедельник на кафедре языкознания начинался всегда одинаково: запахом старого чая, табачным дымом. И тягучей, как кисель, тоской. Татоха вошла в дверь ровно в восемь тридцать. И остановилась на пороге. В помещении было темно, хоть глаз выколи, — лампы дневного света гудели на низкой частоте, мигали и не хотели разгораться. На столе, заваленном стопками тетрадей, методичек и старых стенгазет, горела настольная лампа с желтоватым абажуром. В ее свете сидел Виктор, старший лаборант. Делал вид, что проверяет ведомости.

— Доброе утро, — поздоровалась Татоха, скидывая пальто у входа. — Опять свет не горит?

— Не горит, — буркнул Виктор, не поднимая головы. — Лампочки перегорели. Вызывай электрика.

— Сам вызывай, — парировала Татоха. — Ты старший.

— А ты лаборант. Разбирайся.

Татоха закатила глаза, но спорить не стала. Прошла к шкафу с ключами, висевшему на стене, нашла нужный. Открыла дверцу и заглянула внутрь. Шкаф был пыльный, старый, сколоченный из фанеры еще в пятидесятые годы. Внутри пахло

сыростью и перегнившей бумагой. На полках лежали методички — пожелтевшие, с замятыми уголками, напечатанные на ротапринте и пахнущие спиртом. Татоха вытащила одну стопку, чихнула и переложила ее на стол.

— Вот, — сказала она. — Это те самые. Для заочников.

— Не те, — буркнул Виктор, даже не взглянув. — Я ска- зал — старые, тысяча девятьсот семьдесят девятого года. Ты принесла восемьдесят первого.

— Там нет семьдесят девятого, — огрызнулась Татоха. — Я вчера проверяла.

— Проверь лучше. У меня сегодня пара, мне нужны именно те.

Виктор поднял голову, Татоха увидела его лицо. Узкое, с вечно недовольным выражением. Очками в роговой оправе, которые вечно сползали на кончик носа. Он был старше ее всего на четыре года, но считал себя начальником. И не упускал случая напомнить. Аспирант, мать его. Диссертацию пишет о чем-то там в древнеславянском, а сам за собой убрать не может.

— Виктор, — ворчала Татоха, стараясь, чтобы голос звучал ровно, — я три года на кафедре. Я знаю, где лежат методички. Не учи меня.

— Не умничай, — ответил он, отворачиваясь к своим бумагам. — Найди и принеси. Через двадцать минут пара.

Татоха сжала зубы. Она ненавидела, когда он так с ней разговаривал. Как будто она была уборщицей, а не таким же

сотрудником. Она хотела сказать ему что-то едкое. Про его плешь, которая росла на макушке. Про его манеру постоянно поправлять очки, когда нервничает, но сдержалась. Она знала, если они поругаются, он побежит к завкафедрой. Тогда ей не поздоровится. С учетом того, что они с Виктором потихоньку торговали из того самого пыльного шкафа, о котором никто не помнил. Худой мир был лучше доброй ссоры. Вот по любому.

Она вздохнула и полезла глубже в шкаф. Пыль осела на лице, в носу защекотало. Она чихнула, чихнула еще раз. И, чертыхаясь, начала перебирать стопки. Методички были все на один цвет — серо-желтые, с пятнами от влаги. Некоторые страницы слиплись, другие были разорваны. Она искала глазами нужный год — 1979 — и наконец нашла. В самом низу, под горой старых дипломных работ, которые никто никогда не спрашивал.

— Нашла! — торжественно выдала она, вытаскивая стопку. — Вот они.

Положила методички на стол, сдувала с них пыль. Виктор покосился, хмыкнул, но ничего не сказал. Он взял стопку, пересчитал и сунул в свой портфель. Старый, кожаный, с оборванной ручкой.

— В пять вечера они должны быть на месте, — сказал он, вставая. — Если кто-то не сдаст — будешь искать сама. Все понятно?

— Все, — ответила Татоха сквозь зубы.

Он вышел, хлопнув дверью. Татоха осталась одна. Она села на свой стул, обхватила голову руками и выдохнула. Потом встала, подошла к электрической машинке «Ятрань», которая стояла на отдельном столике. Провела пальцами по клавишам. Машинка была тяжелая, громоздкая, с электрическим приводом — страшная, как боевой танк. Но она умела печатать через копировальную бумагу сразу три экземпляра. Татоха любила ее, несмотря на капризный нрав. Сегодня машинка молчала — ей нечего было печатать, потому что все материалы уже были отпечатаны на той неделе.

Она вздохнула и принялась за свои прямые обязанности: поливать цветы. На кафедре их было три — фикус в углу, замиокулькас на подоконнике и герань, которую принесла завкафедрой. Татоха налила воду в лейку, прошла по горшкам, попутно разглядывая стены. Портреты русских лингвистов — **Ломоносова, Востокова, Шахматова** — смотрели на нее с многолетней укоризной. Они были выцветшими, в пыльных рамках под стеклом, которое никто никогда не протирал. Рядом висели портреты ученых-филологов, которых Татоха не знала. И стенды с фамилиями отличников. В красном углу, на специальном столике, стоял бюст Ленина — белый, гипсовый, с вечно прищуренным взглядом. Под ним, как она знала, лежали сигареты. Всегда. На всякий случай.

Она полила цветы, вытерла руки о кофту и уставилась в окно. За стеклом был серый тюменский день. Низкое небо, мокрый асфальт, редкие прохожие в пальто и шапках. На

улице начало смеркаться, хотя был всего полдень. Она подумала о тете Кате и о том, что завтра вечером пойдет к ней рисовать «Оттепель». Сердце забилося быстрее. Она уже прикидывала, сколько краски ей понадобится. Как смешивать охру с белилами, чтобы получить мокрый серый. Который Васильев так точно подметил.

В дверь постучали. Негромко, но настойчиво.

— Войдите! — крикнула Татоха, оборачиваясь.

Дверь открылась, и на пороге появился Пламен. Он был в светло-зеленом свитере с тремя полосками на груди — красной, желтой, черной. Татоха узнала этот лейбл, хотя никогда не видела его живую. Фирма, о которой все шептались, но никто не носил. На плече у него висела объемная черная кожаная сумка, от него пахло хорошим одеколоном — свежим, с огурцовой ноткой.

— Наташа! — воскликнул он, широко улыбаясь. — Привет!

Татоха улыбнулась в ответ. Пламен был своим, проверенным. Он учился на заочном, приезжал на сессии раз в год. Но в этом году нагрянул уже второй раз — говорил, что ему нужно защитить курсовую. Но Татоха знала, что на самом деле ему нужно продать товар. И она была его главным агентом на кафедре.

— Пламен, — шурилась она, подходя ближе. — Ты рано. Я думала, только через неделю приедешь.

— Не удержался, — он подмигнул, снимая сумку с плеча.

— У меня товар. Свежий, прямо из Софии. Смотри.

Он открыл сумку, и Татоха заглянула внутрь. Там лежали аккуратные пакеты: колготки в ярких упаковках, тубы дезодорантов, помады в красивых коробочках. Пламен вытащил отдельный пакет и протянул ей.

— Это тебе, — сказал он. — Колготки «Сиси», твой размер. Черные. Специально для тебя.

Татоха взяла пакет и прижала его к груди. Колготки были настоящие, импортные, такие в магазинах не продавали. На ощупь они были тонкие, эластичные, почти невесомые. Она представила, как наденет их. Пойдет в них по улице, и все будут смотреть на ее ноги. Ей стало тепло, хотя на кафедре было прохладно.

— Сколько? — спросила она, уже зная ответ.

— Для тебя — три рубля, — сказал Пламен. — Обычно я беру пять, но ты же моя лучшая клиентка. И распространительница.

Татоха засмеялась. Три рубля — это почти как мыть подъезд, но колготки стоили того. Она положила пакет на стол, в сторону.

— А что еще? — спросила она.

— Дезодорант, — Пламен вытащил коробочку. — «Рексона». Хороший, не раздражает кожу. И помада. «Люкс». Проявляющаяся. Я слышал, у вас такие в дефиците.

— В дефиците все, — ответила Татоха, беря коробочки в руки.

— Это я знаю, — Пламен вздохнул. — Люди хотят красиво жить.

Она спрятала товар в сейф — старый, с незапамятных времен стоявший в углу кафедры. Внутри ничего не было, кроме ржавых креплений и пачки пожелтевшей бумаги. О нем все забыли, и Татоха использовала его как тайник. Она закрыла дверцу, повернула ключ и выдохнула.

— Когда зайти за деньгами? — спросил Пламен, усаживаясь на стул напротив нее.

— Через пару дней, — озабоченно ответила Татоха. — Уже спрашивают. Особенно дезодоранты. Я раздам, соберу деньги и принесу. Скоро стипендия. И зарплата.

— Договорились.

Пламен улыбнулся, хлопнул ее по плечу и собрался уходить. Но у двери он остановился, обернулся.

— Кстати, Наташ, — проговорил он, — у меня друг. Он приехал сюда на стажировку. Инженер. Хочет оформить какие-то документы на кафедре. Не подскажешь, как это сделать?

— Пусть приходит, — кивнула головой Татоха. — Я посмотрю. Завкафедрой с утра на месте. Может, поможет.

— Отлично. Я тогда приведу его, хорошо?

— Хорошо, — ответила она, уже не слушая. Она думала о помаде, колготках. И том, как удачно все складывается.

Пламен ушел. Татоха осталась одна в кабинете, где горела лампа, пахло табаком и спиртом от методичек. Она отки-

нулась на спинку стула и закрыла глаза. Все было хорошо. Лучше, чем обычно.

Через два дня, в среду, Пламен пришел снова. Татоха как раз допечатывала ведомости. Дверь открылась и на пороге появились два человека. Пламен и еще один — высокий, широкоплечий. В белом хлопковом пуловере с лейблом спортивной фирмы, в дорогих джинсах и бело-синих кроссовках «Рибок». Он выглядел как герой из иностранного журнала, который Татоха однажды видела на толкучке. Темные волосы зачесаны назад, карие глаза, спокойное, уверенное лицо. От него пахло дорогим одеколоном — цитрусовым, терпким, незнакомым.

— Наташа, — представил их Пламен, широко улыбаясь, — это мой друг. Камен Тангеров. Мы из одного города, из Ловеча. Он приехал в ваш университет на стажировку. Инженер. Ему нужно оформить какие-то документы. Скажешь, как это сделать?

Камен шагнул вперед, протянул Татохе руку. Она сняла пальцы с клавиш «Ятрани» и встала, чтобы поздороваться. Она привыкла к рукопожатиям — на кафедре все здоровались по-деловому, сухо, без лишней эмоции. Но Камен, вместо того чтобы пожать ее ладонь, слегка наклонился и прикоснулся губами к ее пальцам.

Татоха замерла. Рука ее, белая, с синими пятнами краски, на секунду превратилась в чужую, не свою. Она не знала, ку-

да ее деть. Сжать в кулак? Спрятать за спину? Она покраснела — сначала уши, потом щеки, следом шея. Чувствовала, как горит лицо. Понимала, что это заметно.

— Чао-привет, — проговорил Камен с легким акцентом, улыбаясь. — Вы, наверное, художница?

— Что? — переспросила Татоха, пытаясь собраться с мыслями. — Почему вы так решили?

— У вас руки в краске, — ответил он, указывая на ее пальцы.

Татоха опустила глаза и увидела синюю краску. Она застыла, не отмылась даже после того, как она мыла посуду. Вспомнила, что вчера вечером готовила эскиз, смешивала краски. Не заметила, как испачкалась. Ей стало неловко. Хотела спрятать руки за спину, но передумала.

— Это я, — смущенно усмехнулась она, — стенки крашу.

— Такая красивая девушка должна даже стены красить художественно, — сказал Камен, глядя ей прямо в глаза. — Покажете?

Татоха поперхнулась воздухом. «Красивая девушка». Ей никто никогда так не говорил. Никто. Даже Сорока, который таскался за ней с первого класса, говорил: «Ты, Тотох, как шланга. Длинная». А тут — «красивая девушка». Она не знала, как реагировать. Хотела сказать что-то колкое, как обычно, но язык не слушался.

— Ну, — начала она, — я... это... Я не показываю, когда работаю. Но, приходите, если хотите.

— Приду, — ответил Камен, и в его глазах мелькнула искра, которую Татоха не смогла расшифровать. — Обязательно.

Пламен стоял рядом, ухмыляясь. Он переводил взгляд с Татохи на Камена и явно был доволен собой. Хлопнул Камена по плечу.

— Она у нас талант, — оповестил он. — Лучшая на кафедре.

— Я вижу, — ответил Камен, все еще глядя на Татоху.

Они поговорили еще несколько минут о документах. Татоха сказала, что завкафедрой будет завтра утром. И что Камену нужно прийти с направлением из деканата и справкой с места работы. Она говорила деловито, почти сухо, но внутри у нее все кипело. Она чувствовала его взгляд, даже когда смотрела в бумаги. Он смотрел на нее не как на лаборанта или на девушку с халтурой. По-другому. Она не была уверена, что ей это нравилось. Слишком непривычно, странно. Но не отрицала, что ей было приятно.

Когда они ушли, Татоха закрыла за ними дверь и прислонилась спиной к стене. В кабинете снова стало тихо, только гудела лампа и шуршала где-то в углу библиотечная мышь. Она посмотрела на свои руки. Синяя краска уже начинала стираться, но еще была видна.

— «Красивая девушка», — прошептала она. — Красивая, да у меня цыпки от хлорки!

Она подошла к сейфу, открыла его, достала колготки «Си-

си» и помаду. Она посмотрела на них, потом на свои руки. Ей захотелось плакать и смеяться одновременно. Она впервые за долгое время чувствовала себя не Татой, не Малиниковой, которая моет полы по ночам, а кем-то другим. Кто нравится.

— Дура, — сказала она сама себе. — Ты хоть руки намажешь, как нормальная девушка. Сходи на толкучку, купи лак.

Она убрала товар обратно в сейф, закрыла его и села за машинку. Но «Ятрань» не слушалась — она нажимала не те клавиши, делала ошибки. Татоха выругалась, вытащила лист из-под валика и скомкала его. Она смотрела в окно, но не видела серого тюменского неба. Она видела глаза Камена. Карие, глубокие, с морщинками в уголках.

— Завтра, — решила она для себя. — Пойду к тете Кате и нарисую Оттепель. А потом — посмотрю, что дальше.

Она не знала, что дальше. Но чувствовала, как внутри что-то меняется. И человек на ее рисунке, который шел сквозь вьюгу, оглянулся и посмотрел.

На нее.

Улыбнулся.

Глава 4. КАТОК

Вечером в субботу во дворе пахло снегом и мандаринами. Откуда-то из открытых форточек тянуло жареным луком и пирожками. Ко-то пёк, жарил, просто открыл окно, чтобы проветрить прокуренную кухню. Фонарь над катком горел жёлтым. Второй, разбитый ещё в прошлом году, качался на ветру и скрипел, отбрасывая на снег длинные тени. Ветки тополей за голубятней стояли в инее. И на них, как пух, оседали первые крупные снежинки. Месяц выдался холодным, и ЖЭК залил каток раньше обычного. В пятницу ночью, ударил мороз и вода из шланга застыла почти мгновенно. Лёд получился неровным, с буграми и трещинами, но кататься можно было. И все катались.

Татоха вышла во двор в своих мужских конькобежных, сорочкового размера, с длинными лезвиями, которые оставляли на льду глубокие следы. Коньки были старые, отцовские. Но она их наточила сама, наждачной бумагой и точильным камнем. Шнуровка была тугая, кожа натертая, но она привыкла. Выскочила на лёд и сразу пошла в круг, разгоняясь. Чувствуя, как ветер бьёт в лицо и мороз щиплет щёки. Шапка съехала на затылок, волосы выбились из хвоста, но ей было всё равно. Она летела.

— Тотоха, гони! — крикнул кто-то из пацанов, с хоккей-

ными клюшками, стоявших у бортика.

Она прибавила скорости. Лезвия резали лёд с хрустом, и она обогнала всех — и девчонок в белых «Снегурочках» с фигурными лезвиями, и пацанов в «Спартаках» с тупыми носами. И даже дядю Витю, который вышел покататься на старых «дутиках», с сеткой в руках. Она сделала круг, потом второй, третий. На каждом круге добавляла скорости, пока ветер не засвистел в ушах.

— Давай, Малинникова! — крикнула тётя Сима с лавки и захохотала. Татоха слышала её голос сквозь шум.

Она не сбавляла. Показывала всё, чему научилась за эти годы. «Пистолетик» — присела на одной ноге, вытянув другую вперёд, и проехала так почти всю прямую. «Ножницы» — перекрестила ноги на ходу, лезвия скрежетнули. Обратный ход — развернулась на пятках и поехала спиной вперёд, глядя на фонарь, который мигал над головой. Она могла кататься часами. Когда она была на льду, ей казалось, что она не весит ничего. Чувствовала себя просто Родниной. Никакого сорокового размера, цыпок на руках от хлорки. Только лёд и ветер.

Она подъехала к бортику, оперлась спиной о деревянную перекладину, вытерла ладонью мокрое от снега лицо и перевела дыхание. Снежинки падали на ресницы, таяли и стекали по щекам, как слёзы. Она закрыла глаза на секунду, чтобы передохнуть, и когда открыла их — увидела его.

Камен стоял с другой стороны бортика, в расстёгнутой

дублёнке нежно-бежевого цвета, с песочным мехом внутри. Шарф — яркий, клетчатый, — был намотан на шее изящным узлом, как на картинке из модного журнала. На голове не было шапки. Снежинки падали на его чёрные волосы, длинноватые по местным меркам, с модной чёлкой. И таяли на висках. Он не был похож на всех, кто стоял вокруг. Был слишком аккуратным, нарядным, иным. Как с другой планеты.

Татоха моргнула. Она не ожидала его увидеть. Даже не думала, что он знает, где она живёт.

— Ты что здесь делаешь? — крикнула она, подходя ближе и опираясь о бортик руками.

Камен улыбнулся, карие глаза сверкнули в свете фонаря.

— Пламен сказал, здесь интересно, — ответил он с лёгким акцентом. — Он был прав. Вы катаетесь лучше всех.

Татоха засмеялась — неловко, смущённо, но в голосе слышалось удовольствие.

— Конечно, лучше всех, — согласилась она. — Я здесь выросла. Только коньки мужские, старые.

— Не имеет значения, — ответил Камен. — Важно, как вы двигаетесь. Как птица.

Она покраснела. Хорошо, что было темно и фонарь горел тускло. Перевела разговор:

— А ты умеешь кататься?

— Нет, — признался Камен, разводя руками. — В Болгарии почти нет снега. И такого льда. У нас зима — это дождь

и сырость. Иногда снег падает, но тает через час.

— Жалко, — покачала головой Татоха. — Это же здорово.

Она посмотрела на его ноги — в дорогих, тёплых ботинках на толстой подошве. Никаких коньков. И ей вдруг захотелось, чтобы он тоже попробовал. Почувствовал то, что чувствует она, когда ветер бьёт в лицо. Она оглянулась по сторонам и увидела знакомого парня, Серёгу из соседнего подъезда, который только что снял коньки. Сидел на лавке, натягивая валенки.

— Серёга, — крикнула она, — дай на полчаса коньки!

— Да бери, — махнул он рукой, — всё равно я уже домой.

Она подбежала к лавке, схватила коньки — обычные «Спартаки», с тупыми лезвиями, сорок третьего размера, — и принесла их Камену. Тот смотрел на них с лёгким испугом, но не отступал.

— Давай, — приказала Татоха. — Я тебя научу.

Камен сел на скамейку, стащил ботинки и с усилием натянул коньки. Шнурки он затянул неправильно — слишком туго на подъёме и слабо на голени. Татоха присела перед ним на корточки и перевязала шнурки заново. Пальцы её касались его ног, и она чувствовала тепло через тонкий носок.

— Так надо, — сказала она, не глядя на него. — А то ноги отвалятся.

— Спасибо, — ответил он тихо.

Она поднялась, взяла его за руку и повела на лёд. Камен встал, шагнул, и в тот же миг его ноги разъехались в стороны.

Он взмахнул руками, потерял равновесие и грохнулся на лёд. На спину, с глухим стуком, который разнёсся по всему катку.

Татоха засмеялась. Сначала сдержанно, потом громче, до слёз и колик в животе. Она не могла остановиться. Снежинки падали на лицо Камена, который лежал на льду и смотрел на неё снизу вверх. С обиженным, но улыбающимся лицом.

— Ты специально, да? — спросил он, приподнимаясь на локтях.

— Нет, — ответила она, вытирая слёзы. — Просто ты смешно падаешь.

Она подала ему руку. Он встал, пошатываясь, и ухватился за её плечо. На этот раз не упал — только поскользнулся пару раз. Татоха держала его крепко, и они медленно поехали в круг. Она вела его, как ребёнка, приговаривая:

— Смотри, не наклоняйся вперёд. Держи спину прямо. Ноги чуть шире.

— Я же инженер, — ответил он, сосредоточенно глядя под ноги. — Я должен уметь стоять на любой поверхности.

— Не на любой, — усмехнулась она.

Они проехали круг, потом второй. Камен уже не падал, хотя по-прежнему держался за её локоть. Тёплый шарф его размотался, и конец волочился по льду, как след. Татоха подхватила его, накинула Камену на плечи и засмеялась снова.

Когда они остановились у бортика, он был запыхавшимся, но довольным. Снял коньки, сел на скамейку. Татоха присела рядом, сдвинув свои конькобежные на пятки.

— Спасибо, — весело сказал он, глядя на неё. — Я первый раз в жизни катался на коньках. Это было... удивительно.

— Ты привыкнешь, — обнадежила она. — У нас вся зима такая.

Замолчала, глядя на каток. Дети всё ещё бегали по льду, пацаны начали хоккей, клюшки стучали по шайбе. Кто-то из старух на лавке, закутанных в платки, показывал на них пальцем и шептался. Татоха чувствовала на себе их взгляды. Колючие, осуждающие. «Иностранец», «не наш», «смотри, Малинникова с ним сидит». Она знала, что завтра об этом будет знать весь двор. И Дмитрич, участковый, тоже узнает. Она внутренне сжалась, но виду не подала.

— Зачем ты приехал в Тюмень? — спросила она, чтобы отвлечься от мыслей.

Камен повернулся к ней, подставив лицо снегу. Снежинки таяли на его чёрных волосах, и Татоха вдруг подумала, что он очень красивый. Не как советские парни — угловатые, стриженные под ноль, в потёртых пальто. Он был другим. Пугало и притягивало одновременно.

— Стажировка, — ответил он. — Новые материалы для стройки. Я инженер, работаю с нефтегазовыми проектами. У вас здесь уникальные технологии, я хочу их изучить. А ещё... хотел посмотреть на настоящую зиму. У нас таких снегов нет.

— Понравилось? — спросила она.

— Холодно, — он передёрнул плечами. — Просто брррр.

Но люди теплые. Вот ты — теплая.

Она отвернулась, чтобы он не увидел, как она покраснела. Где-то внутри всё трепетало, как птица в клетке. Ей хотелось верить ему, но в голове звучал голос отца: «Не дури. Ничего у тебя не получится. Бабам там делать нечего». Она сжала пальцы в кулак и промолчала.

— Хочешь мороженого? — спросила она, чтобы перевести разговор на что-то нейтральное. — Оно у нас здоровское. «Забава», всего десять копеек.

Камен удивлённо поднял брови.

— Сейчас? Зимой, на улице?

— А что такого? — улыбнулась она. — У нас весь город так делает. Мороженое зимой — самое вкусное. Оно не тает.

Он засмеялся — низко, мелодично. Так, что она почувствовала, как вибрирует воздух между ними.

— Вы очень смелая девушка, Наташа, — сказал он.

— Просто я здешняя, — ответила она и поднялась со скамьи. — Я сейчас. Только сбегая в гастроном, пока не закрылся.

Она сняла коньки, натянула валенки и побежала к гастрому. В киоске «Соки-воды» как раз был открыт, и Лидка продавала последние порции. Татоха купила две «Забавы», по десять копеек, и вернулась на скамейку. Она протянула одно Камену. Он взял его, покрутил в руках, удивлённо рассматривая обёртку с названием «Забава».

— Ешь, не бойся, — откусывая она, откусывая свое.

Он откусил, и его лицо расплылось в улыбке.

— Восхитительно, — сказал он. — У нас мороженое дру-
гое. Более сладкое. А это... как снег с шоколадом.

Она засмеялась. Сидя на скамейке, с мороженым в руках, под фонарём, который мерцал жёлтым светом, она впервые за долгие месяцы чувствовала себя свободной. Неуклюжая, высокая, с сороковым размером ноги, в старых толстых тре-
никах и отцовских коньках, но свободная.

Камен взял её за руку. Нежно, осторожно, как будто она была хрустальной. Она вздрогнула, но не отдёрнула ладонь. Почувствовала тепло его пальцев, и внутри неё что-то замер-
ло.

— Я рад, что встретил тебя, Наташа, — сказал он очень тихо, пытливо вглядываясь ей в глаза.

— Я тоже, — ответила она, глядя на снежинки, которые падали на его тёмные волосы. — Ты хороший. Не такой, как все.

Он снял шарф — яркий, клетчатый — и накинул ей на плечи.

— Плохая привычка, — сказал он. — Дарить вещи кра-
сивым девушкам. Не могу с этим бороться. Вам очень идет. Красиво.

Она прикусила губу, чтобы не рассмеяться. У неё получи-
лось только сдавленное хихиканье. Она намотала шарф на шею, от него пахло одеколоном и снегом. Запах был чужой, но приятный.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.